

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Переезд во флигель особняка Германтов. Ложка бенуара принцессы Германтской. Жизнь в Донсьере у Сен-Лу. Телефонный разговор с бабушкой. Встреча с любовницей Сен-Лу. Прием у маркизы де Вильпаризи. Болезнь бабушки.

Утреннее щебетание птиц казалось несносным Франсуазе. Каждое слово «прислуги» заставляло ее вздрагивать; незнакомые шаги ее беспокоили, она осведомлялась о них (дело в том, что мы переехали). Конечно, и на шестом этаже нашей прежней квартиры слуги двигались не меньше, но она их знала: их ходьба взад и вперед сделалась для нее чем-то дружеским. Теперь же и к тишине она прислушивалась с болезненным напряжением. И так как наш новый квартал оказался настолько же тихим, насколько бульвар, на котором мы жили прежде, был шумным, то при звуках песенки, напеваемой каким-нибудь прохожим (подобно оркестровому мотиву различимой издали, если она негромкая), на глазах у Франсуазы-изгнанницы наворачивались слезы. Вот почему, если я насмехался над нашей старой служанкой, глубоко опечаленной тем, что пришлось покинуть дом, где мы пользовались «таким всеобщим уважением» и где она с плачем, согласно ритуалу Комбре, укладывала свои вещи, объявляя, что нет на свете домов, которые были бы лучше нашего, — зато, столь же болезненно приспособляясь к новым вещам, сколь легко я расставался со старыми, я сблизился с Франсуазой, когда увидел, что водворение в доме, где она не получила от еще не знавшего нас консьержа знаков по-

чтения, необходимых для ее хорошего душевного самочувствия, повергло ее в состояние, близкое к обмороку. Она одна могла меня понять; уж конечно не молодой ливрейный лакей был бы на это способен; для него, как нельзя более чуждого Комбре, переезд, поселение в другом квартале было чем-то вроде вакаций, когда новизна вещей дает тот же отдых, что и путешествие; ему казалось, что он в деревне; и насморк принес ему, подобно простуде от сквозняка в вагоне с плохо закрывающимся окном, восхитительное впечатление, будто он побывал на лоне природы; при каждом чихании он радовался, что нашел такое шикарное место, ибо давнишним его желанием были господа, которые много путешествуют. Вот почему, не думая о нем, я пошел прямо к Франсуазе, но если я посмеялся над ее слезами во время отъезда, оставившего меня равнодушным, то она проявила ледяное отношение к моей печали, потому что ее разделяла. Вместе с мнимой «чувствительностью» нервных людей увеличивается и их эгоизм: они не способны выносить в других выставляемые на показ немощи, которым в себе самих уделяют все больше и больше внимания. Франсуаза, не подавлявшая и самого легкого своего недомогания, отворачивала голову, если страдал я, чтобы не дать мне удовольствия видеть, как меня жалеют и даже замечают мое страдание. Она вела себя точно так же и при моих попытках заговорить с ней о нашем новом жилище. Вдобавок вынужденная через два дня сходить за платьями, забытыми в только что покинутой нами квартире, тогда как у меня была еще в результате переезда «температура» и я, подобно удаву, только что проглотившему быка, чувствовал себя тяжело помятым выпуклым профилем длинной каменной ограды, который зрению моему предстояло «переварить», Франсуаза, со свойственной женщинам неверностью, вернулась, заявляя, что она чуть не задохлась на нашем старом буль-

варе, что, идя туда, она совсем «заплуталась», что никогда она не видела таких неудобных лестниц, что она не вернется жить туда ни «за полцарства», ни за какие миллионы — гипотезы безосновательные — и что все (то есть все касавшееся кухни и кастрюль) гораздо лучше «устроено» в нашей новой квартире. Пора, однако, сказать, что квартира эта — мы в нее переехали, потому что бабушка, чувствующая себя нехорошо (причина, которую мы остерегались ей приводить), нуждалась в более чистом воздухе, — расположена была во флигеле особняка Германтов.

В возрасте, когда имена, рисуя нам образ непознаваемого, который мы в них вложили, и являясь для нас при этом обозначением какого-нибудь реального места, тем самым заставляют нас отождествить то и другое в такой степени, что мы отправляемся искать в каком-нибудь городе душу, которая не может в нем заключаться, но которой мы больше не в силах изгнать из его имени, — не только городам и рекам придают они индивидуальность, как то делают аллегорические картины, не только материальную вселенную испещряют они различиями, населяют чудесами, но также вселенную социальную: тогда в каждом замке, в каждом знаменитом особняке или дворце живет своя дама или своя фея, как в лесах — свои духи, и в водах — свои божества. Иногда таящаяся в глубине своего имени фея подвергается превращению по прихоти нашей фантазии, которая ее питает; вот таким-то способом атмосфера, в которой жила во мне герцогиня Германтская, являвшаяся долгие годы лишь отражением пластинки волшебного фонаря и расписного церковного окна, начала гасить свои краски, когда совсем иные грезы пропитали ее пенистой влагой потоков.

Однако фея увядает, если мы приближаемся к реальной женщине, носящей ее имя, ибо имя начинает

тогда отражать эту женщину, а она не заключает в себе ничего от феи; фея может возродиться, если мы удаляемся от живой женщины, но если мы возле нее остаемся, фея умирает окончательно, а с нею и имя, как род Люзиньянов, обреченный на угасание в день, когда исчезнет фея Мелюзина. Тогда имя, под последовательными подмалевками которого мы в заключение, может быть, и открыли бы прекрасный портрет незнакомки, которой мы никогда не знали, представляет собою уже не больше, как фотографическую карточку, к которой мы обращаемся, чтобы удостовериться, знакомы ли мы с проходящей мимо особой и должны ли ей поклониться. Но стоит какому-нибудь ощущению из былых ушедших лет — подобному граммофонным пластинкам, запечатлевающим звук и стиль игры различных артистов, — позволить нашей памяти произнести это имя тем особенным тембром, каким оно было окрашено тогда для нашего слуха, и мы чувствуем, сравнивая его с этим же именем, по внешности не изменившимся, расстояние, которое отделяет друг от друга грезы, последовательно рисовавшиеся нам его тождественными слогами. На мгновение из вновь услышанных звуков, которыми оно окрашивалось в одну из давно прошедших весен, мы можем извлечь, как из тубиков, которыми пользуются живописцы, точный нюанс — забытый, таинственный и свежий — тех дней, которые мы будто бы припоминаем, когда, подобно плохим художникам, применяем для всего нашего прошлого, растянутого на одном и том же холсте, условные и все одинаковые тона волевой памяти. Между тем, напротив, каждый из отрезков времени, составивших это прошлое, пользовался, при подлинном творении, неповторимой гармонией тогдашних красок, которых мы больше не знаем и которые способны еще вдруг привести меня в восторг, если по какой-либо случайности имя Германт, вновь при-

обретая на мгновение по прошествии долгих лет звук — столь отличающийся от нынешнего, — которым оно для меня окрашивалось в день свадьбы м-ль Перспье, возвращает мне ту лиловатость, такую мягкую, яркую и новую, которой бархатился пышный галстук молодой герцогини, и ее глаза, озаренные голубой улыбкой подобно вновь расцветшему и не могущему быть сорванным барвинку. Имя Германт той поры подобно также баллону, наполненному кислородом или каким-нибудь другим газом: когда мне случается его разбить, выпустить из него его содержимое, я вдыхаю воздух Комбре того года, того дня, смешанный с запахом боярышника, колеблемого ветром с площади, предвестником дождя, который то сдувал солнце, то расстилал его на красном шерстяном ковре церковного придела, покрывая этот ковер ярким, почти розовым румянцем герани и как бы вагнеровской мягкостью ликования, придающей празднеству столько благородства. Но даже и помимо редких минут вроде только что описанных, когда вдруг мы чувствуем трепет подлинной сущности, вновь возникающей в прежней своей форме и чеканке из недр теперь уже мертвых слогов, если в головокружительном вихре повседневной жизни, где они находят лишь чисто практическое применение, имена утратили всякую окраску, как радужный волчок, при слишком быстром вращении кажущийся серым, зато когда, возвращаясь в мечтания к прошедшему, мы раздумываем, пытаемся замедлить, приостановить непрерывное движение, в которое мы вовлечены, мало-помалу перед взором нашим вновь появляются, одни возле другого, но в корне отличные друг от друга, тона, которые в течение нашей жизни последовательно показывало нам какое-нибудь имя.

Какая форма рисовалась моим глазам в имени Германт, когда моя кормилица — которая наверное не знала, как и сам я не знаю сейчас, в честь кого она была

сложена, — баюкала меня старинной песенкой «Слава маркизе Германтской», или когда, через несколько лет, старый маршал Германт, преисполняя гордостью мою няню останавливался на Елисейских Полях со словами «прекрасный ребенок!» и доставал из карманной бонбоньерки шоколадную конфету, — этого я, конечно, не знаю. Те годы моего раннего детства во мне уже не заключены, они для меня что-то внешнее, о них я могу узнать, как и о том, что происходило до нашего рождения, только из рассказов других людей. Но потом я нахожу в себе, в последовательном порядке, семь или восемь различных образов этого имени; первоначальные были самыми прекрасными: мало-помалу мечта моя, вынужденная действительностью покинуть безнадежную позицию, снова окапывалась немного подальше, пока ей не приходилось отступить еще. И в то самое время, как герцогиня Германтская меняла свое жилище, в свою очередь порожденное этим именем, которое оплодотворялось из года в год тем или иным услышанным мной словом, видоизменявшим мои мечты, — жилище ее отражало их каждым своим камнем, отвечающим словно поверхность облака или озера. Нематериальная замковая башня, являвшаяся лишь оранжевой световой полоской, с высоты которой сеньор и его дама распоряжались жизнью и смертью своих вассалов, уступила место — на самом краю той самой «стороны Германта», где я столько раз в прекрасные послеполуденные часы гулял с моими родными по течению Вивоны, — изрезанной ручьями области, где герцогиня учила меня ловить форель и называла имена цветов, которые фиолетовыми и красноватыми гирляндами увивали низкие ограды окрестных садилов; затем то были наследственные земли, поэтические владения, где надменный род Германтов, подобно желтоватой, изукрашенной орнаментом башне, прошедшей через века, уже возвышался

над Францией, в то время как небо было еще пустое там, где впоследствии выросли соборы Парижской и Шартрской Богоматери; в то время как на вершине Ланского холма еще не остановился, как Ноев ковчег на вершине Арарата, корабль собора, наполненный патриархами и праведниками (с тревогой высовывавшимися из окон посмотреть, утих ли Божий гнев), захвативший с собой виды растений, которым предстояло размножиться на земле, набитый животными, которые из него вырываются даже через башни, где быки мирно разгуливают по крыше, посматривая с вышины на равнины Шампани, в то время как путешественник, покидавший Бове на склоне дня, не видел еще, как за ним следуют, кружась, распростертые на золотом экране закатного неба ветвистые черные крылья тамошнего собора. Германт этот, точно обстановка какого-нибудь романа, был воображаемым пейзажем, который я с трудом себе представлял и тем сильнее желал открыть в виде участка, вклиненного среди реальных полей и дорог, которые вдруг пропитались бы геральдическими особенностями, в двух лье от вокзала; я припоминал имена соседних местностей, как если бы они были расположены у подошвы Парнаса или Геликона, и они мне казались драгоценными материальными условиями — в смысле топографическом — для порождения таинственного феномена. Я вновь разглядывал гербы, изображенные под витражами комбрейской церкви, поле которых было заполнено, век за веком, всеми сеньорами, которые при помощи браков или приобретений привлечены были этим знаменитым родом из всех уголков Германии, Италии и Франции: необъятные земли на севере, могущественные города на юге, соединившиеся и сочетавшиеся в Германт и аллегорически вписавшие свою зеленую башню или свой серебряный замок в его лазоревое поле. Я слышал разговоры о замечательных коврах Германта, я видел, как

они, средневековые и голубые, немного тяжеловатые, выделялись подобно облаку над бархатисто-малиновым и легендарным именем, у опушки древнего леса, где так часто охотился Хильдебер, и мне казалось, что я проникну в загадочную глубину этих владений, в эту даль веков, разгадаю все их тайны не при помощи путешествия, а лишь соприкоснувшись на миг в Париже с герцогиней, сюзереном Германта и дамой озера, как если бы лицо ее и слова заключали очарование тамошних лесов и рек и те же стародавние особенности, какие запечатлены в древнем своде местных обычаев, хранящемся в ее архивах. Но тут я познакомился с Сен-Лу и узнал от него, что замок стал называться Германтом только с XVII века, когда был приобретен его предками. До тех пор Германты жили по соседству, и титул их не был связан с этой областью. Селение Германт получило свое имя от замка, возле которого оно раскинулось, и, чтоб не портить вида на него, оставшийся в силе сервитут определял направление улиц и ограничивал высоту домов. Что касается ковров, то они были вытканы по рисункам Буше, куплены в XIX веке одним из Германтов, ценителем этого искусства, и висели рядом с посредственными картинами охоты, писанными им самим, в очень безвкусном салоне, обитом плюшем и дешевыми бумажными тканями. Вследствие этих откровений Сен-Лу ввел в замок элементы, чуждые имени Германт, которые мне больше не позволяли извлекать архитектуру замковых построек единственно из звука составлявших это имя слогов. Тогда на фоне его перестал рисоваться отраженный в озере замок, и взору моему предстал в качестве жилища герцогини ее парижский особняк, особняк Германтов, ясный, как ее имя, ибо ни одна вещественная и непроницаемая частица не засоряла и не помрачала его прозрачности. Как церковь означает не только храм, но и собрание верующих, этот

особняк Германтов охватывал всех лиц, принимавших участие в жизни герцогини, но лица эти, которых я никогда не видел, были для меня не более чем именами, знаменитыми и поэтичными, и, вводя знакомство только с лицами, которые тоже были не более чем именами, лишь повышали и охраняли таинственность герцогини, окружая ее широким ореолом, который, самое большее, тускнел по краям.

Так как гости на устраиваемых ею празднествах были в моем воображении бестелесны, не носили усов и ботинок, не говорили банальных или даже остроумных в общепринятом рациональном смысле фраз, то этот вихрь имен — столь же невещественный, как ужин теней или бал привидений, — вокруг статуэтки из саксонского фарфора, каковой была герцогиня Германтская, сохранял прозрачность окон в ее стеклянном особняке. Потом, когда Сен-Лу рассказал мне анекдоты о капеллане и садовниках его кухни, особняк Германтов превратился в подобие замка — каким мог быть некогда, скажем, Лувр, — окруженного посреди Парижа, собственными землями, доставшимися герцогине по наследству в силу какого-то диковинным образом уцелевшего древнего права, на которых она до сих пор пользовалась феодальными привилегиями. Но и это последнее жилище, в свою очередь, разлетелось в прах, когда мы сделались соседями герцогини, поселившись во флигеле ее особняка рядом с г-жой де Вильпаризи. Это был один из тех старинных барских домов (такие, может быть, и теперь еще существуют), в которых по сторонам парадного двора — осадки ли, принесенные поднявшимся валом демократии, или наследие более давних времен, когда вокруг сеньора группировались различные ремесла, — часто можно увидеть закрытые лавочки, мастерские и даже ларек сапожника или портного (вроде тех, что лепятся у стен соборов, если они

не оголены эстетикой инженеров), будку привратника, занимающегося починкой обуви, разводящего кур и выращивающего цветы, а в глубине, в «барской» квартире, «графиню», которая, садясь в старую коляску, запряженную парой, в шляпе с настурциями, как будто сорванными в садике привратника (и с ливрейным лакеем, слезающим с козел у каждого барского особняка по соседству, чтобы загнуть визитную карточку), посылает улыбки и машет рукой детям привратника и проходящим в эту минуту буржуа, жильцам ее дома, которых она путает в своей пренебрежительной приветливости и уравнительном высокомерии.

В доме, куда мы переехали, великосветской дамой, занимавшей глубину двора, была герцогиня, элегантная и еще молодая. То была герцогиня Германтская, и благодаря Франсуазе я довольно скоро располагал сведениями о ее доме. Ибо Германты (которых Франсуаза часто обозначала словами «те, что внизу», «нижние») составляли ее непрестанную заботу с самого утра, когда, причесывая маму, она украдкой бросала запретный и неодолимый взгляд во двор и приговаривала: «А, две сестрички, наверное, снизу», — или: «Отличные фазаны в окне на кухне, нечего и спрашивать, откуда они: видно, герцог был на охоте», — и до вечера, когда, подавая мне ночное белье, услышав звуки рояля или отголоски шансонетки, она умозаключала: «Внизу у них гости, идет веселье». На ее правильном лице, окаймленном седыми теперь волосами, появлялась тогда молодая улыбка, живая и пристойная, и на мгновение ставила все ее черты на свое место, сочетала их в жеманное и лукавое выражение, как перед кадрилию.

Но минутой из жизни Германтов, возбуждавшей во Франсуазе живейший интерес, дававшей ей наибольшее удовлетворение и причинявшей также наибольшее страдание, была минута, когда настезь раскрывались

ворота и герцогиня садилась в коляску. Это случалось обыкновенно вскоре после того, как наши слуги кончали торжественное священнодействие, что-то вроде пасхального богослужения, называвшееся их завтраком, которого никто не смел прерывать и во время которого они были до такой степени «табу», что даже мой отец не позволил бы себе позвонить, зная, впрочем, что и при пятом звонке никто бы из них не пошевелинулся и что он таким образом учинил бы эту бестактность совершенно зря, да еще и не без ущерба для себя. Ибо Франсуаза (которая, сделавшись старухой, по любому поводу напускала на себя подобающий случаю вид) не преминула бы в течение целого дня мозолить ему глаза физиономией, покрытой красными клинообразными значками, предъявлявшими длинный, хотя и недостаточно разборчивый, список ее жалоб и затаенные причины ее недовольства. Впрочем, она их и излагала при помощи речей «в сторону», но так, что мы не могли разобрать ни слова. Она называла это (считая для нас весьма обидным, «уязвляющим») «править вполголоса обедню весь Божий день».

Закончив все обряды, Франсуаза, являвшаяся, как в ранней христианской церкви, одновременно и священнослужителем, и одной из паствы, выпивала последнюю рюмку вина, снимала с шеи салфетку, складывала ее, вытирая остатки воды и кофе на губах, просовывала в кольцо, благодарила скорбным взглядом «своего» молоденького лакея, который в пылу усердия говорил: «Знаете, мадам, еще бы винца; оно отменное», — и сейчас же открывала окно под предлогом нестерпимой жары «в этой пакостной кухне». Поворачивая ручку оконного затвора и вдыхая свежий воздух, она в то же время проворно бросала равнодушный взгляд в глубину двора, украдкой удостоверясь, что герцогиня еще не готова, останавливала на миг свои презрительные и жгучие

взоры на запряженной коляске и, уделив таким образом внимание вещам земным, воздевала глаза к небу, заранее уверенная в его безоблачности по мягкости воздуха и теплоте солнца; она долго рассматривала в углу крыши местечко, как раз над трубой моей комнаты, где каждую весну свивали гнездо голуби, похожие на тех, что ворковали в ее кухне, в Комбре.

— Ах, Комбре, Комбре! — восклицала она. (Певучий тон, которым делалось это восклицание, наряду с арльской правильностью лица Франсуазы мог бы внушить мысль о ее южном происхождении и о том, что утраченная родина, которую она оплакивала, была лишь родиной, избранной ею впоследствии. Но, может быть, предположение это было ошибочно, ибо, кажется, нет такой провинции, в которой не было бы своего «юга»; и сколько встречается савойцев и бретонцев, у которых находишь все мягкие перемещения долгих и кратких звуков, характерные для южных говоров.) — Ах, Комбре, когда-то я тебя увижу, милый мой городок! Когда-то удастся мне провести весь божий день под твоим боярышником и нашей бедной сиренью, слушая зябликов и Вивону, которая журчит, как человек, шепчущий вам на ухо, вместо того чтобы слышать пакостный звонок нашего молодого барина, который полчаса не может усидеть, не прогоняв меня взад и вперед по этому чертову коридору! Да еще считает, что я мешкаю: надо-де, чтоб его услышали раньше, чем он позвонит, и если вы на минуточку запоздали, он впадает в страшнейший гнев. Увы, бедненький Комбре, может быть я вновь тебя увижу только покойницей, когда меня бросят как камень в могильную яму. Тогда уж я не почувствую запаха твоего прекрасного боярышника, белого как снег. Но и в могильном сне я, верно, буду еще слышать эти три звонка, которые заживо погубят мою душу.

Но тут Франсуазу перебивали доносившиеся со двора возгласы жилетника — того самого, который так понравился когда-то бабушке во время ее визита к г-же де Вильпаризи и занимал не менее высокое место в симпатиях Франсуазы. Подняв голову на шум открываемого окна, он уже несколько мгновений пытался привлечь внимание своей соседки, чтобы с ней поздороваться. Кокетливость молодой девушки, каковой становилась Франсуаза, преображала тогда для г-на Жюльена ворчливое лицо нашей старой кухарки, отяжелевшей от преклонного возраста, дурного расположения духа и жара плиты, и был очаровательным соединением сдержанности, непринужденности и стыдливости ее обращенный к жилетнику поклон, грациозный, но немой, ибо хотя она и нарушала предписания мамы, выглядывая из окна на двор, все же не осмелилась бы на такую браваду, как разговор через окно, который ей стоил бы, по выражению Франсуазы, «здоровой головомойки» со стороны барыни. Она глазами показывала жилетнику запряженную коляску с таким видом, точно говорила: «Славные лошадки, а?» — но бормотала при этом: «Старая рухлядь!» — хорошо зная, что он сейчас ей ответит, приставив ко рту руку, для того чтобы его услышали несмотря на приглушенный голос:

— Вы тоже могли бы их иметь, если бы пожелали, и даже, может быть, побольше, чем они, но вы таких вещей не любите.

И Франсуаза скромным, уклончивым и восхищенным жестом, означавшим приблизительно: «У каждого свой вкус; мы любим простоту», — закрывала окно, опасаясь, как бы не вошла мама. «Вы», которые могли бы иметь больше лошадей, чем Германты, были мы, но Жюльен с полным правом говорил «вы», ибо, если не считать некоторых эгоистических удовольствий, испытываемых только ею: например, когда она не переставая